

Бенедикт Сарнов

Скуки не было



ЛитРес: Самиздат
Москва

УДК 82-312.6
ББК 84
С20

Сарнов Б. М.

Скуки не было / Б. М. Сарнов — Москва: ЛитРес: Самиздат, 2019. — 577 с.

ISBN 978-5-5321-0778-6

Третья книга воспоминаний писателя, литературоведа, критика Бенедикта Сарнова (1-ая и 2-ая выходили в издательстве "Эксмо"), которую он дописывал и редактировал в последние дни своей жизни. Для широкого круга читателей — о невеселых временах, но написано легко и даже весело. Содержит нецензурную брань. Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-5321-0778-6

© Сарнов Б. М., текст, 2014
© Omiko Trading LTD., оформление, 2019

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.

Борис Пастернак

От автора

Закончив вторую книгу своих воспоминаний, я увидел, что многое из того, что мне хотелось в нее вместить, туда не вошло. За пределами книги (обоих ее томов) осталось множество сюжетов, которые были интересны не только мне, но, как мне казалось, могли бы представить интерес и для читателя. Естественно, мне захотелось написать еще одну, третью книгу, в которой все эти, оставшиеся «за кадром» истории, эпизоды и, как говорил Бабель, «замечания из жизни» располагались бы уже не в связном повествовании, ограниченном рамками хронологической последовательности, а в виде произвольной, беспорядочной мозаики.

Соблазн написать такую книгу был велик. Казалось бы, чего же лучше – садись и пиши!

Но мне мешало одно очень важное соображение.

Вторая книга моих воспоминаний хронологически была доведена до 1987 года. То есть – до начала нашей так называемой «перестройки».

С тех пор прошло двадцать пять лет. И каких лет!

И мне было, что вспомнить об этой эпохе в жизни страны и в моей собственной жизни.

Умом я понимал, что этот мой замысел *правильнее*, чем тот, «мозаичный». Но душа больше лежала к первому.

Какому же из них отдать предпочтение?

На этот вопрос у меня не было ясного ответа. Я метался между этими двумя соблазнами, попеременно склоняясь то к одному, то

к другому, как знаменитый Буриданов осел между двумя охапками сена.

Но однажды, в процессе этих метаний я вдруг почувствовал возможность соединить, слить эти два замысла в один.

Возможность эта открылась мне в желании продолжить линию «портретов», которую я начал еще во второй книге. Там это были «портреты» Эренбурга, Виктора Шкловского, Маршака, Солженицына. А в новой книге эта галерея могла быть продолжена портретами Бориса Слуцкого, Коржавина, Войновича, Булата Окуджавы, – с каждым из них я был близок на протяжении полувека. Тут нельзя будет не рассказать о том, как тот исторический разлом, который случился со страной, с некоторыми из них меня еще больше сблизил (Войнович, Булат), с другими, хоть и не развел, но в достаточной степени осложнил отношения (Коржавин, Владимир Корнилов), а с кем-то и развел навсегда, сделав врагами (Юрий Бондарев).

И чтобы написать обо всем этом, вовсе не обязательно соблюдать хронологическую последовательность в изложении событий. Ведь скуки у нас не было, как говорится, всю дорогу – что в советские времена, что потом, после распада Советского Союза.

Вот такой, подумал я, и должна быть эта третья книга моих воспоминаний. А перед первыми двумя у нее даже будет одно важное преимущество: ее можно будет читать и не зная тех двух. Являясь в некотором смысле их продолжением, она в то же время никак не будет от них зависеть: будет существовать сама по себе.

Бенедикт Сарнов

19 февраля 2012 г.

Несколько слов об эпиграфе к этой книге

Я долго колебался, прежде чем решился его оставить.

Предпринял даже попытку дать его в несколько усеченном виде, без первой и последней строки. Вот так:

Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду

Сойти со сцены, и сойду.

Причиной этих моих колебаний было сознание несравнимости той среды, о которой собирался говорить в этой своей книге я, с той, которую «имел в виду» Пастернак.

Острое сознание этой несравнимости выразил Давид Самойлов в коротеньком стихотворении, которое он написал, когда ушла последняя представительница той, пастернаковской среды – Ахматова:

Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И всё разрешено.

Нельзя не признать, что некоторые основания для этого горького самоуничижения у поэта были. И музыка наша была не та. И лёд не тот.

И все-таки... Всё-таки мы тоже были *музыкой во льду*.

И поэтому —

Здесь места нет стыду.

Портреты

Печальная диалектика

Другая музыка

Зазвал меня как-то к себе один мой приятель.

В этом его приглашении было что-то не совсем обычное. Он явно давал понять, что зовет не просто так, а с тем, чтобы доставить мне какое-то особенное удовольствие. «Приходи, не пожалеешь!» – сказал он.

Я решил, что ему удалось достать какое-то давно уже нами забытое (дело происходило в советские времена) лакомство, – скажем, миноги, или осетрину первой свежести, – которым он собирается меня попотчевать.

Так оно и вышло. Но лакомство, которым он в этот раз меня угостил, было совсем другого рода.

Все с той же своей загадочной, обещающей какое-то неслыханной блаженство ухмылкой он достал из конверта патефонную пластинку. Тут, – не скрою, – я испытал некоторое разочарование. (Я совсем было забыл, что этот мой приятель был большой меломан, а я, уж если меня решили угостить, решительно предпочел бы миноги). Но вот он включил проигрыватель, пластинка медленно начала свое кружение, и в комнате зазвучал божественный голос Ахматовой.

Эта была только что выпущенная тогда в свет фирмой «Мелодия» пластинка «Голоса поэтов».

Приятель мой блаженствовал. Я – тоже. Но к его блаженству еще примешивалось удовольствие от сознания, что затея его удалась: угощение, которое он мне сулил, меня не разочаровало.

Все это было написано на его лице. Но помимо этого там было написано кое-что еще. С него не сходило выражение, ясно говоря-

щее, что это – еще не все, что впереди меня ждет еще какая-то неожиданность, еще какой-то сюрприз.

Голос Ахматовой отзвучал.

После нее читал Слуцкий.

И едва раздались первые звуки его голоса, я сразу же понял, что означало это загадочное выражение лица моего приятеля.

Слуцкий вколачивал свои слова, словно гвозди. После виолончельного голоса Ахматовой, после волшебной музыки ее стихов его голос, его стихи казались не просто немзыкальными, но – антимзыкальными.

Приятель мой ухмылялся: запланированный им эффект удался.

Но Слуцкий продолжал вколачивать свои гвозди – и ироническая ухмылка постепенно сходила с лица моего приятеля. Оно становилось серьезным, вдумчивым, вслушивающимся. И даже как бы замороженным этим жестким, немзыкальным, будничным голосом, этими антимзыкальными, нарочито непоэтичными, подчеркнуто прозаическими стихами.

И тут я вспомнил, – кажется, даже произнес вслух, – две строки одного его стихотворения:

Я не давался музыке. Я знал,
что музыка моя – совсем другая.

Да, это была другая музыка. Совсем другая. Но – музыка.

Это мы обсуждать не будем

Я познакомился с Борисом Слуцким в 1955-м. Что-то о нем я тогда уже слышал, но стихов его практически не знал, – знал только одно, единственное его стихотворение: «Памятник». Оно было напечатано в «Литературной газете» 7 августа 1953 года, и о нем тогда много говорили.

Но на меня, по правде сказать, особого впечатления оно не произвело. Хотя «сделано» оно было мастерски, и даже отмечено необычной по тем временам новизной подхода к традиционной теме бесмертия солдатского подвига:

Солдаты сыскали мой прах по весне,
Сказали, что снова я родине нужен,
что славное дело,
почетная служба,
большая задача поручена мне.

– Да я уже с пылью дорожной смешался!
Да я уж травой придорожной пророс!
– Вставай, подымайся! —
Я встал и поднялся,
и скульптор размеры на камень нанес.

Необычным и новым для тогдашней советской поэзии тут было то, что стать памятником назначено было не солдату-победителю, дошедшему до Берлина и участвовавшему в штурме Рейхстага, а бойцу, которому не привелось взять даже некую малую безымянную высоту.

Но дальше стихотворение разворачивалось в лучших традициях соцреализма, не оставляя у читателя сомнений, что скульптором этим, который «размеры на камень нанес», был не кто иной, как главный корифей означенного художественного метода, пятикратный сталинский лауреат Евгений Викторович Вучетич:

Гримасу лица, искаженную криком,

Расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным.
А был я живым.

Расту из хребта,
как вершина хребта.
И выше вершин
над землей вырастаю.
И ниже меня остается крутая,
не взятая мною в бою высота.

Здесь скалы
от имени камня стоят.
Здесь сокол
от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
который Советский Союз представляет.

От имени родины здесь я стою
и кутаю тучей ушанку свою.
Отсюда мне ясны дали видны —
просторы
освобожденной страны...
Стою над землей
как пример и маяк.
И в этом
посмертная
служба
моя.

Совсем непохоже это было на того Слуцкого, который открылся
нам несколько лет спустя.

С его грубой правдой:

Орденов теперь никто не носит.
Планки носят только дураки...

С его обнаженной и такой же грубой конкретностью:

Шел фильм, и билетерши плакали
в который раз над ним одним.
И парни девушек не лапали,
Поскольку стыдно было им.

В общем, ничего удивительного не было в том, что за два года, минувшие со дня появления на страницах «Литгазеты» этого первого его напечатанного стихотворения до дня нашего знакомства Слуцкому не удалось напечатать ни строчки. И вышло так, что в вечер этого нашего знакомства я узнал, открыл для себя нового, прежде совсем мне неведомого поэта.

Познакомила нас общая наша приятельница Лена Зонина. Она была женой моего литинститутского товарища Макса Бременера.

К Максусу и Лене мы с женой время от времени захаживали запросто, не дожидаясь особого приглашения. Но на этот раз приглашение было. И приглашены мы были не просто так, а специально «на Слуцкого».

Кроме него нас было четверо: Макс с Леной и я с женой. И весь вечер Борис читал нам стихи.

Читал не просто так, «для знакомства». Как потом выяснилось, вечер этот был затеян им с особой целью. Это был заранее задуманный опыт. А мы были – подопытными кроликами.

Каждое стихотворение он читал дважды. В первый раз – в том виде, в каком оно было написано, а во второй – в отредактированном, иногда довольно жестко отредактированном, прямо-таки изуродованном виде – «для печати».

Цель эксперимента состояла в том, чтобы услышать от нас, велик ли урон, нанесенный стихотворению этой редакторской правкой. То есть он понимал, что урон, конечно, велик. Но хотел оценить меру этого урона. Точнее – увидеть, уцелело ли, «выжило» ли стихотворение после этих нанесенных ему увечий.

В общем, что-то такое он хотел тогда на нас проверить. Может быть, даже решить, стоит ли вся эта игра свеч: остаются ли после этих поправок его стихи – стихами.